



Виктор ГРИГОРЬЕВ

Воображаемая филология Велимира Хлебникова

1. Пушкинский поэт призывал Музу, а с ней и читателей, «на пир воображенья» — в XX в., веке НТР, расцвета научной фантастики и «фэнтази»¹, это застолье стало почти обыденным. Как ни относиться к творчеству Хлебникова, несомненно, что его стихи, высказывания, статьи — это целостная система «прообразов», которые он силой воображения стремился «углубить в завтра» (СП 3, 21) и которые определяют его «совершенное своеобразие», отмеченное уже в 1925 г. А. В. Луначарским². Слова воображенья, прообраз, своеобразие — одного корня. В канун столетия со дня рождения Хлебникова пора разобраться и в корнях «воображаемой филологии» этого уникального поэта-фантаста, поэта-философа. Многомерный опыт предшественников, однако, показывает, что такую задачу легче отбросить, чем правильно поставить и, тем более, решить. В настоящей статье обсуждаются лишь некоторые вопросы из всего круга относящихся сюда проблем, а также недостаточно привлекавшиеся исследователями архивные материалы³.

Отошли в прошлое попытки представить Хлебникова «сумасшедшим», не заслуживающим внимания трезвых умов. Сейчас «безумными идеями» Будетлянина интересуются «Дни поэзии» (М., 1972; М., 1975; М., 1978) и «Вопросы литературы», такие академические издания, как «Известия АН СССР» или сборник «Зарубежные славяне и русская культура»⁴. Если сопоставить статью Степанов 1960 с монографией Степанов 1975, то при всей недостаточности и этой последней работы отчетливо обнаружится реальный прогресс нашей филологии в познании творчества «великолепнейшего и честнейшего рыцаря», как точно назвал Маяковский одного из своих поэтических учителей, — поэта, построившего целую «периодическую систему слова».

Углубление интереса к «Лобачевскому слова», создателю «новой семантической системы»⁵ заметно и в зарубежной хлебниковиане. Так, исследование сложной и важной темы Востока у Хлебникова

западногерманским славистом⁶ показало некоторые ее связи с особенностями поэтического мира, стремившегося охватить мироздание в целом. Пока не издана диссертация Г. Барана (США), посвященная поэме «Дети Выдры», но этот исследователь уже зарекомендовал себя как автор публикаций, свидетельствующих о его широких и плодотворных устремлениях⁷. В Швеции вышла в свет на английском языке монография о другой поэме — «Поэт»⁸. По сравнению с Магкоу⁹ зарубежные исследования 70-х годов тоже знаменуют шаг вперед в изучении наследия поэта.

Все сказанное не значит, что Хлебникова уже не пытаются «побивать» то Маяковским, то Блоком, который, кстати, «подозревал», что Хлебников даже в своих первых книгах — «значителен»¹⁰. Свежих примеров вульгаризованного противопоставления больших поэтов известно немало, хотя против подобной «эстетической односторонности и кособокости» наша филология настойчиво предостерегала, особенно с конца 60-х годов¹¹. Даже юбилейные пристрастия не оправдывают и таких полемических заострений: «Русское стиховое слово звали на свой путь Вяч. Иванов с его теоретизирующим талантом, В. Хлебников с его гениальным филологическим безумием; звали на путь священноглаголения, таинственного корнесловия, словесной магии, звали отделиться и стать “языком богов” — или богемы. Но русская поэзия пошла за Блоком — за светочем классического (в широком смысле) искусства — и тем спасла свою художественную честь»¹². Предвзятость отлучения Хлебникова от «художественной чести» русской поэзии XX века, его венчания с «божественным» или «богемой» бьет в глаза каждому, кто вспомнит хотя бы «Ночь перед Советами», «Голод», «Союзу молодежи» (чтобы назвать лишь кое-что из самого общеизвестного).

2. «Гениальное филологическое безумие» Хлебникова, его наследие — это нечто сопоставимое с «безумными идеями» в естествознании, обнаруживающем, кстати, интерес к этому феноменальному поэту¹³. Обсуждая творчество Кэрролла, современные физики-теоретики вполне могли бы в ряду с Эйнштейном, Кэрроллом, Кеплером и Марком Твеном упомянуть и Хлебникова, который тоже писал о «классическом», или «ньютоновском», направлении в развитии науки и о близком ему самому «кеплеровском» и который, подобно Кэрроллу, гоже сходил «с торной дороги»¹⁴. Больше того, по воспоминаниям А. Н. Андриевского, Хлебников считал в высшей степени условным и относительным различие между образом и понятием, поскольку, с его точки зрения, в каждом понятии «незримо присутствует образ» и в каждом образе заключен «кусочек понятия». Поэтому он настаивал на равноправии искусства с наукой во всей сфере познания и изменения мира¹⁵.

Прав критик, пришедший к выводу, что «Хлебников оказался в своих “сумасшедших” фантазиях большим реалистом, чем многие трезвые практики»¹⁶. Один пример. Задолго до «экологического взрыва» Хлебников призывал вчитываться в «рукопись мира», чтобы произвольно не нарушить равновесия, не подорвать единства человека и природы (этим, в частности, он был дорог Заболоцкому). Экологам и фантастам, очевидно, неизвестно, что ситуация, обозначаемая в популярной литературе как «бабочка Брэдбери», была впервые описана Хлебниковым, причем — почти невероятно! — именно в «образе бабочки». Ситуацию эту по справедливости следовало бы именовать «бабочкой Хлебникова-Брэдбери»¹⁷.

Эпитет воображаемая применительно к «филологии» Хлебникова правомерен как вызывающий ассоциации с «воображаемой геометрией» Лобачевского. Его образ часто появляется у поэта в значимом соседстве с образом Разина, причем не только в «Ладомире» (см. ниже), где «Лобачевского кривые» украсят «всемирный труд», или в полустигии перевертня «Разин»:

Я — Разин со знаменем Лобачевского логов, —

но и в ряде неопубликованных текстов¹⁸.

С именем Лобачевского у Хлебникова связаны ранние поиски «элемента мнимости в языке» (60: 57 об.), образ $\sqrt{-1}$ — нередко относимый им к себе самому, и обоснование «права словотворчества» именно геометрией великого ученого, «роскошью» его «доломерия» (НП 323): это размышления студента-естественника, только что отказавшегося от специализации в области математики, но уже замахнувшегося на «Опыт построения одного естественнонаучного понятия» — понятия метабиоза¹⁹. Как не всегда явная метафора, это понятие будет играть большую роль и в историософских построениях уже студента-филолога, и в словотворчестве поэта, способствуя раскрытию главных его тем — времени, связей природы и общества, лада мира.

В глазах иного дипломированного специалиста Хлебников выглядит не окончившим курса неудачником: бедственный быт, сомнительное мифотворчество, клички маньяка, юродивого, формалиста, идиота.. Но «специальность» была и у него — весь мир в единстве противоположностей и их тончайших деталей. Многие ли поэты, философы или фантасты отваживались на то, чтобы подчинить всю свою жизнь необходимому здесь особому «учебному плану»? Произведение же таких сомножителей, как фундаментальный университетский «тривиум», постоянное самообразование и природное дарование, дало результат, уникальный в культуре XX века.

Конечно, эрудиции Хлебникова многого и не хватало. Судя по всему, он был недостаточно знаком <хм...> с основными произведениями

Маркса, Энгельса, Ленина²⁰, и в этом смысле его тезаурус соизмерим с тезаурусом Блока и многих других поэтов-современников. Вместе с тем, кажется, никто не обладал таким сочетанием «школ» — физико-математической, естествоиспытательской и историко-филологической и, как следствие, такой свободой в поэтическом преобразовании достижений астрономии, математики, физики, химии, биологии, лингвистики, революционизировавших эти области знания да еще помноженных на искания деятелей тех сфер искусства, куда он тоже «вторгался». Имена Ломоносова, Лобачевского, Менделеева и Эйнштейна у него творчески взаимодействуют с именем Маркса, с именем Щербы и с именами Уитмена, Пикассо и Скрябина. Имя и образ Ленина даже в этом ряду занимает особое место. Человек, «сорвавший с петель <...> заставу к алому чертогу» («Ночь в окопе»), не в поэзии, а в реальной политике прокладывающий «стезю железную», чтобы «род людей сложить, как части / Давно задуманного целого» (там же), настойчиво влек к себе «Председателя Земного шара».

В первых шагах «Ладомира», в шествии «творян» Хлебников видел осуществление и собственных идеалов, воспевая это шествие в своей «оде революции», отмеченной сплавом математики, космоса и социальной бури:

Это Разина мятеж,
Долетев до неба Невского,
Увлекает и чертеж
И пространство Лобачевского²¹.

Обнаженной прямоте прозы Маяковского — «Моя революция» — он предпочел не менее значимое местоимение мы:

В день смерти зим и раннею весной
Нам руку подали венгерцы, —

т. е. выступал в «Ладомире» от имени «самодержавного народа», славя там же «дружбу пшеничного злака / В рабочей руке с молотком». «Воображаемая филология» по-своему толкала его и к работе в РОСТА, и к непосредственному участию в действиях иранской революционной армии²².

3. Есть и другое основание для выражения «воображаемая филология». Так, Хлебникова отличало «на редкость яркое и самобытное воображение, способное на очень далекие ассоциации, своеобразные тропы»²³. Это видно уже в раннем «Зверинце»:

Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности,
как вписанное в часослов «Слово о полку Игореве»
во время пожара Москвы.

Не только звери могут сопоставляться с явлениями социальной жизни, но и математические образы и словотворческие опыты. Со временем сами числа, «как чуткие звери приходят и нюхают воздух» (82: 60), а около порога отрицательных и положительных чисел, оказывается, «живет большой медведь времени» (75: 4). В занятиях исторической «алгеброй народов» поэту видится образ «ножки судьбомера» — метафорического циркуля (83: 4), переход человека от землешаства к судьбопашеству и судьбоделию (86: 47), преобразование популярной формулы: «Всадники судьбы, мы не рабы» (41:2 об.); надеясь выявить «углы миров, вонзенные в слова», за каждым словом, даже усталым, он усматривает образ, «куски пространства с новым именем», «те повороты сил, что скрыты в каждом звуке» (41: 6), а «образ пойманный, повязку притворной немоты, словесного бессилия одев, в игре словесной ищет крылья» (41:6 об.). В таком контексте слово равнебен (41:2 об.; ср. молебн и небо) — это и злободневный образ социального равенства, и пророческий — «равенства небу, року, богам, поскольку

Воочью сегодня, воочью
Мирового равнебна волна
Пришла волновать <...>.

Эту волну Хлебников и пытался проследить, опираясь на эмпирические, по его убеждению, «законы времени»²⁴. Подобно герою повести Ю. Трифонова «Другая жизнь», он своими методами искал «нити, соединяющие прошлое с еще более далеким прошлым и с будущим»²⁵, и давал свой прозор, т. е. прогноз, указывая, например, на 11 октября 1962 г. (как на некоторый временной аттрактор,) как на дату «возможного распространения советской власти» на весь Земной шар (72: 7). И это — в 1922 г.! Иронизируя над «гаммой Будетлянина», подождем все-таки 2007-го года, когда пройдет уже не 2¹⁴, а 2¹⁵ дней после Октября, и если человечество не наделает глупостей, то этот грубый ориентир окажется, возможно, не таким и утопичным. Не исключено, что к тому времени опыт Октября освоят и «моряки Вера Круца»²⁶, а «луч Москвы» долетит не только «до Бомбея», «улъяня все племена» (80: 36–40), — и «мировой сове», которой российские юноши из Союза молодежи, по словам поэта, не раз кричали «Прочь», в самом деле уже некуда будет деться в кольце свободолюбивых народов²⁷.

«Воображаемую филологию» питает и испытывает все, что привлекает к себе внимание поэта. Глагол улъянить — это в его глазах символ завоевания свободы Неувяды и человеческого единения. Параллель, которую он проводит: «Певец труда! Веди свой зов от лени. Ведь Пушкин нежногорлый [не зачеркнуто: соловьиный] вел свой

род от пушки» (80: 37; ср. л. 36), — станет понятной, если учесть, что в «звездном языке» Хлебникова Эн имеет значение отрицания. Тем самым образ Пушкина здесь предстает как воплощенное отрицание войны, ненавистной поэту, а образ Ленина — как призыв к неустанному труду, к Трудоміру, который именно в Ленине «увидел друга» («Ночь в окопе»).

4. Хлебникова по привычке называют «поэтом для поэтов», а то и «поэтом для эстетов»²⁸. Тезис Маяковского «Хлебников — поэт для производителя» сейчас правомерен лишь как требование к читателю стать «поэтом в душе»; неверно понятый, он приводит к самым невероятным выводам. Так, под влиянием жесткой оппозиции Хлебников / Маяковский, осложненной назревавшими кличками типа «литературный пигмей»²⁹, Г. О. Винокур предельно заострил это противопоставление, обвинив Хлебникова в «презрении к слову»³⁰. Между тем еще Иванова-Разумника поражала как раз «влюбленность поэта в слово»³¹, а стоило задуматься, презирал ли прямые линии Лобачевский в своем увлечении кривыми, чтобы тезис о «презрении» был сразу «помножен на нуль».

«Поэтическая тема Маяковского, несомненно, не могла бы быть рассказана, если бы не языковое новаторство, к которому она толкала Маяковского»³². Но это еще более верно для Хлебникова, одной из важных тем поэзии которого, хотя отнюдь не «главным героем» и не «основным содержанием»³³, был язык как неотъемлемая часть социальной действительности. В окказионализмах типа бобэоби, мленник, достоевскиймо, смехистелинно и под. Винокур видел «разрушение слова как средства выражения мысли»³⁴, практически полностью выводя словотворчество Хлебникова за рамки «способов, данных в модели языка» (там же)³⁵. Однако никакого «разрушения слова» здесь нет, хотя, конечно, еще предстоит описать все те «жизнестойкие элементы в экспериментальной работе над словом» у Хлебникова, которые «были возвращены на национальной почве и потому оплодотворяли поэзию»³⁶. Слово губы не обращается в руины словом бобэоби, имени и творчеству Достоевского не грозит ущерб со стороны недогматичного (ср. пись-мо от глагольной основы) слова достоевскиймо и т. д., а конструктивный анализ «слов-беззаконников» правомерно привлекает все больше внимания исследователей и популяризаторов³⁷.

Но, может быть, мы должны считать Хлебникова «поэтом для лингвистов»? В самом деле, «его эксперименты основаны на глубоком проникновении в суть языка, его законы», а при всестороннем исследовании, несомненно, подтвердится, что некоторые «теоретические высказывания Хлебникова опережают современную ему лингвистику»³⁸. Существенны, в частности, его опыты восстановления в словах их «поэтической внутренней формы», внимание к «неразрывной,

мотивированной связи между звуком и значением»³⁹, а также к информации, связываемой с началом слова (начальный согласный «прикалывает» остальным), и к «семантике возможных миров». Но значима близость его идей не только к идеям Трубецкого, Якобсона, Ельмслева⁴⁰ и других лингвистов, но и к идеям Циолковского, Вернадского, Любищева, Уэллса, Лейбница.., к идеям Ленина. Из этого следует, что Хлебников — «поэт для всех», как и любой другой подлинный поэт.

Читатель вправе, разумеется, сказать вместе с поэтом К. Кулиевым, что он любит у Хлебникова «не эксперименты, а его прекрасные стихи!»⁴¹. Или довольствоваться тем, что «Хлебников был писателем для Маяковского. Маяковский был писателем для миллионов» (С. Залыгин)⁴², что хлебниковская поэзия как-никак «пришла все же к массовому читателю — через Маяковского, Асеева, а затем Евтушенко, Вознесенского» (Ю. Трифонов)⁴³. Подобная «утешительная» аргументация в значительной степени иллюзорна.

1) Эксперименты Хлебникова — важнейшая черта его идиостиля; отделить их от «прекрасных стихов» способна лишь избирательность любви, закрывающей глаза на «несовершенства» любимого. Поддавшись «соблазну отделения», мы рискуем действительно разрушить реальные структуры многих «прекрасных стихов». Как, например, «отвлечься» от слов любеса и кругло-синий в стихотворении «В этот день голубых медведей...»⁴⁴? По-своему «экспериментальным» предстает и стихотворение «Море», неотделимое от опытов «расширения словесной базы», с его диалектизмами и словом будно. И т. д. «Очищенное» от всяких экспериментов ядро «школьного Хлебникова» окажется настолько пресным, что не понять, чем же Будетлянин так остро задевает сегодня нас — от В. Катаева и Н. Грибачёва до В. Шкловского и А. Вознесенского, от Центрального телевидения, еще робко, но пропагандирующего Хлебникова, до «Русской речи»⁴⁵ и от «Филологических наук», все еще побивающих учителя учеником, до «Литературного обозрения» с его вниманием к серьезным публикациям⁴⁶.

2) Эксперименты Хлебникова иногда сравнивают с «лесами»⁴⁷, но они обычно превращаются у него в «несущую конструкцию» текста. Когда мы, наконец, сумеем разобраться в них по-хозяйски, многие эксперименты тоже смогут заслужить оценку «прекрасные». Хлебниковские смехачи, нехотяи, небоводцы и главнебы, времякопы, брюховеры и какнибудцы, весничий и злобничий «дух войны», Темнигов и Никогдавль, оренята и криченята, Волгохульство и самооплеванщина, нравда и лгавда, мучоба, выль, лють, свисть и глаголь (ж. р.), взорваль «бомба», светинка «фотон», снежимочка, оченки и кляни-долька, жаровня-шляпа, бяка- и ляля-числа (т. е. 3ⁿ и 2ⁿ).. — это крохотная часть одних только его субстативных словоновшеств.

Все они требуют анализа в контексте и в общей системе. Но, честно говоря, и сами по себе они «прекрасны». Недаром сближаются понятия «самовитого слова» и «красного словца»⁴⁸.

3) Ради чего воздвигать между нами и Хлебниковым средостение из других поэтов? А достаточно ли глубоко они поняли его и усвоили его уроки? Неужели прямые читательские контакты с ним (кроме упомянутого «ядра») нежелательны и невозможны? Едва ли. Контактам нужна забота. Полемически можно сказать: Хлебников сейчас — «поэт для» комментаторов. Он труден, но не «легок» и Блок. Усилия блоковедов тем не менее «довели» его до широкого читателя. Аналогичная задача стоит и перед велимироведением.

5. На этом пути — множество открытых проблем. Оставляя в стороне темы такого ранга, как «Хлебников и Пушкин»⁴⁹, стоит сосредоточиться на собственно лингвистических моментах в преградах к их изучению. Но полезно прежде упомянуть и две характерные параллели. Во-первых, словом *достоевский*⁵⁰ не исчерпывается внимание поэта к создателю «Братьев Карамазовых». Вот многозначительная аллюзия в «Детях Выдры»:

Опасно видеть в вере плату
За перевоз на берег цели,
Иначе вылезет к родному брату
Сам лысый чёрт из темной щели.

Хлебниковская альтернатива «вере» — мера — нам уже известна. Во-вторых, другая параллель — из русской культуры XX в.; в отличие от первой она, кажется, вообще не отмечалась. Это — «сокровенная мысль» Н. К. Рериха «о синтезе всех видов творческого устремления»⁵¹. Подобно Хлебникову, Рерих по-своему искал и узнавал «объединительные знаки между древнейшими традициями Вед и новыми формулами Эйнштейна»⁵².

Исследованиям в подобных направлениях препятствует, однако, все еще не развенчанная обобщенная оценка литературоведом языкового новаторства Хлебникова как «одной из самых крайних и систематически проведенных тенденций к обособлению поэтического языка и его отрыву от общего языка на основе фетишистского отношения к средствам выражения и своеобразного лингвистического иллюзионизма»⁵³. С позиций литературоведа подлинную народность творчества Хлебникова давно показал Н. Я. Берковский в замечательном (к сожалению, неопубликованном) докладе к юбилею поэта в 1945 г. Тем легче и лингвистически опровергнуть категорическое утверждение Гофмана.

1) Проекция на «общий язык» видна в «самых крайних» экспериментах поэта (см. выше о бобэоби); речь поэтому может и должна идти

лишь о расширении границ поэтического языка. 2) Фикцией являются и «фетишизм» Хлебникова с его всегдашней установкой на содержание любого текста⁵⁴ и вниманием к смыслу окказионализмов⁵⁵. «Слова, а мысли нет», — размышляет поэт в 1908 г. над словечком голубонь (60: 133), кажется, единственный раз не сумев связать эксперимент с «воображаемой семантикой» финалей (ср. огонь, ладонь и под.). Меньше всего к нему применима этикетка «формалист»: поэт отчетливо понимал, что невозможно работать «над формой», «не касаясь содержания». 3) Что касается «лингвистического иллюзионизма», то необходимо понять: поэзию и «воображаемую филологию» Хлебникова не удастся адекватно оценить с нормативной точки зрения на язык. Давно было замечено, что «слово, каким его впервые показал Хлебников <...> требовало для себя формул высшего порядка»⁵⁶. Попытки «разоблачить нелепости» заумного «речетворчества» поэта исходят из совсем иных формул⁵⁷.

Хлебников вовсе не первооткрыватель «самовитого слова». Уже Гоголь по-хлебниковски свежо и глубоко удивлялся «драгоценности нашего языка. Иной раз название слова драгоценнее самой вещи, которую называют»⁵⁸. Определение «самовитого слова» как слова «вне быта и жизненных польз» (СС 1, 8) Хлебников противопоставил определениям слова лишь в его нормативной ипостаси. В то же время подлинные «быт» и «жизненные пользы» проглядывают буквально в каждом из опытов поэта. В «самовитом слове» мы вправе видеть предтечу того смысла, который вкладывается сейчас — при непреодоленном разномыслии — в понятия «слова в поэтической функции», «экспресемы», отчасти «окказионализма» и «поэтического слова»⁵⁹.

«Самовитое слово» — слово динамическое, не застывшее в своих словарных значениях. Потому оно и способно «отрешиться от призраков данной бытовой обстановки», взорвать с помощью словотворчества и соположения «глухонемые пласты языка», проложить «путь из одной долины языка в другую» (СС 6, 168). И «слово» и «словотворчество» у Хлебникова — понятия нетривиальные; семантические окказионализмы столь же характерны для него, как и материальные, но как бы заслонены ими перед глазами исследователя. К сожалению, и за пределами «самовитого слова» еще очень слабо изучена проблема связки «неологизм (окказионализм) — метафора». Между тем если хлебниковские крикуны «критики» — это переосмысление известной номинации, как и метонимии типа Менделеев «химия» или Скрябин «музыка», то славяний порожден в процессе взаимодействия морфологического и семантического способов словообразования — сразу как метафорическое, но неизвестное ранее обозначение (здесь — существенного, «химического», вклада в систему знаний). И таких

фактов — сотни. Заведомо отводить все «переносы» лишь в сферу диахронии явно нецелесообразно⁶⁰.

В 1922 г. Хлебников так увещевал будущих исследователей проблем «самовитого слова»: «Те, кто принимают слова в том виде, в каком они поданы нам разговором (читай: нормированным, литературным языком. — В. Г.), походят на людей, верящих, что рябчики живут в лесу голые, покрытые маслом и сметаной <...>» (73: 8). Этот методологический сарказм искушенного орнитолога и слововеда как бы прямо метит сквозь десятилетия в иных нормативистов 1982 г.

6. Лингвистические основания «воображаемой филологии» составляет сложная система (свыше 50) «языков» хлебниковского идиостиля, обозначавших у него и различные принципы и приемы, в том числе словотворчество или «целинные созвучия» (т. е. случаи «поэтической этимологии» без расподобления гласных). Попытка представить иерархию «языков» приводит к следующей схеме.

Большое число «языков» объединяет (1) звездный язык (он же — «алгебраический язык»; 14:5) идеей «скорнения согласных» (64: 40 об.)⁶¹. И «разложение слова <...>» (СС 2, 241), и «мелкая колка слов» (27: 11), и «обнаженный костяк слова» (СС 3, 80), и «поединок слов» (СС 3, 271; ср. 65: 2), и «опечатка» связаны с этой идеей, а косвенно — «косое созвучие» (64: 52), или «косой перезвон речи (косые голоса)», как вид паронимии (см. 64: 52 и 73), и, конечно, «внутреннее склонение слов», хотя задачу «скорнения гласных» поэту решить не удалось. Постоянное «соединение звездного языка и обыденного» (СС 3, 266) напрягает в текстах любое неодноконсонантное слово как потенциальный композит; ср. набросок пропагандного замысла: «Сценарий полотно идет слово ряд пехотинцев заглавный звук на коне или аэроплане с шашкой указывает путь, за ним рядовые звуки слова пехотинцы» (93: 4; см. и лл. 6 и 3 об.).

Особый интерес представляет (2) «язык двух измерений», или «двоякоумный» (64: 73), определяющий «речь дважды разумную, двоякоумную-двуумную» (72: 1), пока почти не исследованную⁶². Элементарное ее проявление — «тайные слова» (64: 52) типа ушкуй — слово, которое «скрыто» в крылышка (СС 6, 227); речь идет о реальных словах, которые независимо от воли поэта участвуют в процессе словотворчества или соотносят свои значения по звуковой близости в «обыденном языке» (95: 14): таинственный «напоминает» воинственный и т. п.

Больше того. Поэт писал о словах как «живых глазах для тайны», когда «через слюду обыденного смысла просвечивает второй смысл..» (СС 6, 101). И вот, тайный смысл «знаменитой тройки Гоголя» Хлебников связывает с «тройкой дней», которая «катила Россию к Мукдену», т. е. со своей идеей, касающейся «бьяки-числа»

3ⁿ, что уже «было открыто сердцу» Гоголя, но «не было еще ясно разуму» (72: 1). А заглавие «Двуумный слог» открывает такую запись: «Когда будила заря / Стая ворон кружилась над шкурой мамонта / 5 сент<ября> 1919 <года> Буденный разбил Мамонтов<а> и Шкуро» (64: 62 об.). Сопоставляя будила — Буденный — сбудется — разбудится, вороны — Воронеж и т. д. (СС 3, 220), поэт стремится узнать «углы событий в мгновенной пене слов».

Он был уверен, что «в речениях есть опись хода дел», что «слова были подобием мира» (125: 20 об., 25 об.), что «только рост науки позволит отгадать всю мудрость языка, который мудр потому, что сам был частью природы» (СС 6, 35; ср. СС 6, 169–171). Здесь, конечно, не только сравнительному языкознанию есть отчего «прийти в ярость» (СС 6, 206), но и современному литературоведению. Но, как увидим, даже «мистика» поэта художественно конструктивна. К тому же «воображаемая филология» восходит к древности: любая метаморфоза типа «Обернется парусом бумага, / Укрепится мачтою перо..» (Багрицкий. Возвращение) по своим истокам — такая же «мистика», а перед читателем любой смелой метафоры или произведения «фэнтази» (см. примеч. 1) автор ставит задачу судить его «по законам, им самим над собою признанным» (Пушкин. Письмо А. А. Бестужеву, конец января 1825 г.). Мы вправе полностью отвергать хлебниковские историософию и «историю языка» как научно несостоятельные, но обязаны считаться с его поэтическим убеждением: «<...> то, что позже сбудется, / Им прошлое разбудится» (СС 3, 220). И как знать, не станет ли оно со временем привычным приемом беллетристической поэтики, скажем, под названием будетлянизм...

Ведь поэт обнаружил новое и впечатляющее образное средство. Дворяне и творяне в «Ладомире» связаны друг с другом и в плане истории («метабиотичееки»), и — в меньшей степени — «фонемами-морфемами» звездного языка, но словом творяне Хлебников в самом деле «будит прошлое»: дворяне — их «прообраз, углубленный в завтра»; ср. в обращении поэта к революции 1905 г. (черновики «Зангези» — 64: 89 об.):

Эр России из Пресни летит,
Чтобы Пресня стала песня.

У Хлебникова сопоставлены «числоречи» (СС 6, 256), «число-слово» (64: 52) и (3) числовой язык (95: 14), в 1919–1921 гг. привлекавший исключительное внимание поэта. «Образ числа» у него — один из ключевых. Для эволюции этого образа надо подчеркнуть значение декабря 1920 г., когда в Баку был, наконец, «открыт основной закон времени» (см. НП 385–386; СС 6, 200–207); статья «Наша основа» написана до этой даты. Еще раньше Хлебников разрабатывал такие

виды числового языка, как «язык имен собственных» и «язык речей» (86: 28; СС 6, 241). Это набор имен богов, героев и персонажей или стандартных вопросов и ответов; каждая из этих словарных единиц получает фиксированный номер с целью вести «быстрый разговор между всем племенем Земного шара» и защитить настоящий язык от банальностей: «Язык останется для сложных отношений, не поддающихся числу, литературы художественной, отвлеченных трудов» (86: 28) — здесь подчеркнута роль словесного языка.

Трем этим «объективным», в глазах поэта, «языкам» противостоит (4) «личный язык» (64: 65) как «субъективный». Он охватывает и «звукоспись», и «заумь», но с оговорками. Тот, кто считает «звукосписью», например, «птичьи речи» и «птичий язык» (СС 3, 307–308 и СП 3, 387), должен учесть, что это не столько звукоспись, сколько орнитологически точная звукозапись. Точно так же среди разных видов «зауми» едва ли следует полностью относить к «личному языку», скажем, запись речи эпилептика в «Зангези» или заговоры и заклинания, т. е. «священный язык язычества», воплощенный в «волшебной речи», она же — «заумная речь в народном слове» (СС 6, 274). Как правило, это — «речи персонажей».

В собственном смысле (5) звукоспись — это «звукоспись весны» (СС 3, 269) и «звукоспись временем краски» (СС 5, 332; ср. «Бобэоби..»), она же — «радужная речь» в черновиках «Зангези». Наконец, (6) заумный язык, или заумь, в понимании Хлебникова, кроме «волшебной речи», имеет такие разновидности: а) «безумный язык» (64: 20 об.), т. е. «чистая заумь», отличаемая и от «безумной мысли» (СС 1, 9), и от «якобы безумных речей» (89: 11 об.), в которых могут встретиться «безумные слова» типа божествоварь и под. (см. СС 5, 331–332), но принципиально иные, чем единицы «безумного языка» (глюм, бзам, чип и др.); б) «язык богов» (СС 5, 308–310; СС 4, 237–247). Основой зауми является неосознанная тяга людей (и богов — метонимий «вер») к единому средству общения. Слова «чистой зауми» сродни междометиям, разнообразие которых у Хлебникова поразительно⁶³.

Звездный язык — это «способ сделать заумный язык разумным» (СС 6, 174). Сами же заумь и звукоспись образуют лишь незначительные вкрапления в хлебниковские тексты. Несоизмеримую с ними роль играют такие «языки», как «обыденный», «Даль», «народные слова», «общеславянские слова», «грубый язык», «старые речи», «сопряжение корней», даже «иностранные слова». Интерпретация этих и других «языков» тоже не лежит на поверхности, но здесь не может быть развита.

7. Иерархия «языков» необходима, но недостаточна как характеристика «воображаемой филологии», которую отличает от «воображаемой геометрии», ее прообраза и катализатора недостаток

«точности», необходимой для научной теории, но размывающей свои границы в поэзии. Полезно обобщить и те принципы, закономерности, допущения и ограничения, которым следовал поэт.

Сетуя, что «нет науки словотворчества» (СС 6, 168), он разработал на базе широко понимаемой «аналогии» (60: 91 об.) множество словотворческих моделей, «образцов» (86: 28). При этом, как мы видели, даже в самых своих фантастических идеях, образных сближениях и словотворческих опытах он исходил из принципа «Организму вымысла нужна среда правды» (60: 137). Явления «опрощения» Хлебников возвел в ранг «закона забвения прошлого <у> слова» (60: 21 об.), который стал импульсом к разработке звездного языка, а на первых порах привел поэта к опытам «восстановления утраченных слов» (60: 3 об.) типа «Смехачей» как образцам «скорнения», где «берется, в отличие от спряжения и склонения по падежам, чистый корень и корень делает все движения, доступные для него» (9: 5 об.). Это — «сопряж<ение> в борьбе» (60: 6), так как «каждое слово опирается на молчание своего противника» (46: 5). Хлебников убежден, что его словотворчество не противоречит «духу русского языка» (60: 16), а «всё, что не против<но> «этому духу (60: 60), имеет право на существование во имя «полноты языка»: ведь «каждый корень изна<чально> все формы обр<азовывал>» (60: 35 об.).

Творчество Хлебникова — яркий пример «снятия запретов». Богатейшие пласты «экстранормальной лексики» самых разных типов в его идиостиле обязаны своей жизнью реализации принципа «равенства слов» (63: 6). По существу, Хлебников ввел два сильных допущения: 1) для звездного языка, сформулировав закон «равенства сложной составной словесной глыбы изначальному словесному “наделу” <...>» (60: 15 об.) и доведя до «азбучного» максимума степень членимости слов; при этом поэта занимала и идея семантической компрессии: петер — это «ветер х петь»; 2) для «языка двух измерений» (см. выше); существенно, что «красота смены двух подобнозвучных слов, из коих первое < — > название, второе < — > образ» (60: 41 об.), привлекала поэта и своими смысловыми потенциями в поле паронимической аттракции, т. е. вне зависимости от какой-либо «мистики».

Снимая запреты, Хлебников вводил и ограничения. Наиболее значительное из них — исходная тенденция к почти полному запрету (для себя) на корни западноевропейских языков, в том числе на интернациональный греко-латинский корнеслов. Понятно, что такой запрет разбудил стихию словотворчества, повлек за собой массу заимствований из других славянских языков, смелость в отношении диалектизмов, просторечия и тропов; сам же он был вызван желанием Будетлянина проникнуть к чистой «сущности русского языка» (60: 96 об.), его славянской самобытности. В этом смысле Хлебников —

самый народный из наших поэтов. Однако интерес к «слову как таковому» явно преобладал у него над интересом к структурам разного рода словосочетаний. По-видимому, с этим надо связывать не формулируемое им в явной форме ограничение на общенародную фразеологию; ее у Хлебникова относительно мало. Третье ограничение — еще более слабое, если не кажущееся: на фоне Маяковского или Светлова творчество Хлебникова выглядит как слабо использующее юмор. На самом деле это не так: тема «Ирония, юмор и сатира у Хлебникова» богата открытиями. Вот только два каламбура, свидетельствующие, кстати, об относительности всех его «запретов»: *ex ungue Ньютопом* (87: 81) и в богах нынче скрывается (60: 40).

Очень рано Хлебников обнаружил стремление к «смене парадигм». Показательно, что «алгебра» («мера») у него и ревизор «гармонии», будь это лад мира или «вера», и ее, гармонии, компаньон в творчестве. Коллизии между ними в «воображаемой филологии» нет. Уже в 1908 г. поэт записывает: «В долины невозможного я неуставающий бегун» (60: 138 об.). Нормативно исправит «неуставающий» на «неустающий» или «неустанный». Согласимся или нет с такой поправкой, но подумаем о сути: о том, что «прежде сказки — станут былью» («Иранская песня»), что и Лобачевский в свое время отправился «в долины невозможного» для Евклида, который, однако, тоже, очевидно, не был неисправимым нормативистом. Как в том же 1908 г. утверждал Блок:

И невозможное возможно.

Эти параллельные линии, оказывается, тоже сходятся самым не-тривиальным образом. К «художественной чести» русской поэзии.

P. S. Кажется, я был первым, кто заговорил о «воображаемой филологии», как и о «воображаемой истории», а позднее — даже о «воображаемой метафизике» и «воображаемой политэкономии» Хл. Работа была опубликована в Твери (Калинине) в 1982 г. благодаря любезности и усилиям Р. Р. Гельгардта. Сам термин (пока?) не прижился. Время от времени в общей форме упоминают о «поэтической филологии» Хл, не анализируя ее содержания и связей с идеей и традицией Лобачевского, а как бы подверстывая ее к «мифологемам» Вехи, его (квази) мифологическому мышлению»⁶⁴.

<...>

